

УДК 821.161.1 Лермонтов

Н. П. Сысоева

Лермонтовская «Дума» о молодом поколении в общественно-литературном контексте 1830-х годов

В статье на материале анализа «Думы» М. Ю. Лермонтова рассматривается одна из актуальных проблем современной науки о поэте: сходство его антропологических взглядов с антропологическими воззрениями его современников (в сфере литературы, критики, философии) и принципиальные различия между ними. В результате лермонтовская антропологическая система оценивается как выдающееся явление русской культуры, в координатах которой были глубоко осмыслены и пророчески верно угаданы трагические инволюционные процессы в сфере общественного самосознания молодого поколения.

Ключевые слова: коллизия бытия и духа, антиномия, антропология, инволюция, «поэзия мысли», рефлексия.

Лермонтов... Еще одна поистине неразгаданно-тревожная «загадка третьего тысячелетия», причастная к судьбам России, судьбам современного человечества.

Почему лермонтовское слово, «новое слово» (Ф. М. Достоевский), с которым художник приходит в мир, спровоцировало в свое время такой небывалой мощи всплеск личностных эмоций не только в читательской среде, но и в критике, а затем и в науке?

Почему и сегодня, в преддверии 200-летия со дня рождения поэта, разговор о его творчестве по укоренившейся в критике и науке традиции напоминает, по точному определению В. М. Марковича, своего рода состязательный «судебный процесс», «тяжбу» «обвинительной» и «оправдательной» сторон, неизбежно превращаясь в нескончаемый и мучительно-тревожный спор о смысле человеческого существования и о фатально трагической судьбе самого художника в условиях сложившегося миропорядка? [10, с. 50].

Может быть, потому, что в качестве универсального лирического «внутреннего события» [17, с. 49], по выражению И. Сурат, соединяющего все созданное им в единую «книгу» творения, Лермонтов изначально берет коллизию Бытия и Духа? Берет во всем космическом объеме, мистической тайне и трагической неразрешимости в отпущенные человеку земные сроки.

И, может быть, потому, что уже пришло время, как об этом убедительно говорит Н. Н. Скатов, адекватно оценить масштаб, место и значение феномена Лермонтова в русском культурном пространстве, поэта, который «уже прорывался в космос», «умел сурово и благодатно говорить с Богом» и должен был заменить Пушкина [16, с. 97].

Коллизию Бытия и Духа Лермонтов ставит перед собой, человечеством и Богом в качестве абсолютной проблемы, от разрешения которой зависит самоосуществление человека и человечества.

Не усомнившись в Бытии Творца, преклоняясь перед красотой и совершенством Природы («Вокруг меня цвел Божий сад...»), поэт изначально не принял земного несовершенства человека и воспроизводимого им несовершенного земного миропорядка, так разительно не соответствовавших Божественному замыслу о человеке и трагически не совпадавших с авторской, запредельной по своему духовно-нравственному максимализму антропологией.

Поэт пришел в этот мир с убежденностью в том, что идея Божественного замысла о человеке должна и может быть осуществлена, но при условии предоставленной человеку абсолютной Свободы. Ограничения и запреты, налагаемые на свободу человека,

© Сысоева Н. П., 2013

полагал поэт, ставят под сомнение саму возможность воплощения образа Божьего в земном человеке.

Однако свободная воля человека пришла в трагически неразрешимое противоречие не только с таинственно-непостижимой волей Творца, Рока, Судьбы, но и с ежечасно ощущаемыми относительностью, преходящностью, «случайностью», конечностью всех форм земной жизни. Свободная воля человека оказалась стесненной оскорбительной, рабской зависимостью от земной власти, государства, общества, быта, воли других людей...

Поэт изначально не смог смириться с тем, что от самого человека оказались сокрыты цели, сроки, «начала и концы» воплощения Божественного замысла о нем, а самому человеку была отведена нестерпимо унижительная роль послушного рабского исполнителя неведомой ему Высшей Воли.

В этом непостижимом для человеческого разума, трагически непреодолимом разрыве небесного и земного начал в природе, жизни, судьбе человека увидел Лермонтов основную причину непреодолимого тотального кризиса человека и создаваемого им миропорядка.

Исключительный интерес в этом отношении представляет знаменитая лермонтовская «Дума» (1838). Это, безусловно одно из самых знаковых явлений русской классической поэзии послепушкинской эпохи рубежа 1830—1840-х годов, оказалось пророческим предсказанием нарастающих и углубляющихся «инволюционных» (И. Роднянская) процессов в жизни русского общества, с гениальной чуткостью уловленных поэтом в самосознании молодого поколения [14, с. 258].

Авторитетные лермонтоведы (Л. Гинзбург, Д. Максимов, Е. Маймин, Э. Найдич, И. Роднянская, У. Фохт, А. Журавлева), основательно исследовавшие общественно-литературный контекст лирики поэта, выявили ее остро современное звучание, соответствие «духу времени» (В. Белинский) [3, 4, 8, 9, 11, 14, 18].

В свое время В. И. Коровин обоснованно отмечал, насколько созвучными настроениям «Думы» оказались «лирика декабристов, поэзия кружка Н. В. Станкевича, философская проза романтиков, дневники и письма Герцена, статьи Белинского, первое «Философическое письмо» П. Я. Чаадаева» [5, с. 147].

Безусловно, так. Однако не менее значимыми окажутся и глубокие идейно-философские и религиозно-эстетические расхождения Лермонтова со своим веком во всем диапазоне его эпохально значимых идей: от радикализма Белинского (уже преодолевавшего во многом именно благодаря мятежному пафосу лермонтовской поэзии «примирительный» период своего развития и выходившего на революционно-демократические позиции) до либерализма Чаадаева.

Лермонтовская мысль, откликаясь на вызовы века, пересекаясь с его магистральными идеями, изначально устремлена на свой, в высшей степени самобытный путь поиска Истины не в сфере общественно-политической или абстрактно-философской мысли, а в универсальной, онтологической сфере взаимодействия Бытия и Духа, выражаемого на языке поэзии.

Это становится особенно очевидным в диалоге-споре Лермонтова с Пушкиным, создателем, с точки зрения младшего современника русского гения, универсальной картины русского национального мира и совершенной эстетической системы предшествующей эпохи, с которыми он ощущал не только родство, но и знаковые, эпохальные расхождения.

Пушкин, с присущей ему «всемирной всеотзывчивостью» (Ф. М. Достоевский), всегда откликался на все сколько-нибудь значимые идеи своей эпохи, активно осуществляя миссию национальной самоидентификации.

Но с особой ясностью, четкостью, силой и убедительностью аргументации, основанной на жизненном опыте, уроках мировой и отечественной истории, культуры и религии, попытался Пушкин ответить на вызовы своего века в последнее свое «семилетие» (В. Непомнящий).

К этому времени Пушкин прошел через школу гедонизма и вольтерьянства, преодолел искус байронизма, «афеизма», декабристского «революционизма» и в середине своего творческого пути, «услышав Бога глас», вышел на истинную свою дорогу, которой последует до конца.

В его последних творениях, итоговом, наполненном тревожными эсхатологическими предчувствиями и смыслами «каменноостровском» лирическом цикле и историческом романе-предупреждении о страшном, «бессмысленном и беспощадном» «русском бунте» отразились глубокие размышления о социально-духовном расколе русского общества, о возможных катастрофических последствиях общенационального кризиса.

Но в целом духовно-нравственный пафос позднего Пушкина можно определить как исполненный веры и надежды целенаправленный поиск путей выхода из ситуации общенационального кризиса.

К середине 1830-х годов такой выход для Пушкина исключал как революционный радикализм, так и европейский буржуазный либерализм.

В этих идеях века, обольщавших умы современников соблазнами скорого переустройства неразумного, несовершенного миропорядка с помощью революционного насилия или либерализации всех форм личной и общественной жизни (с ее идеей индивидуалистического самоутверждения, культом личного обогащения, наживы, «пользы», профанацией вечных духовно-нравственных ценностей), увидел Пушкин большую опасность, губительную для будущих судеб России и мировой цивилизации.

В своей публицистической антирадищевской диалогии («Путешествие из Москвы в Петербург» (1835) и «Александр Радищев» (1836)), писавшейся в это же время, он оспаривает и отвергает все базовые положения радищевской утопии революционного преобразования российского миропорядка.

«В Радищеве, — констатировал Пушкин, — отразилась вся французская философия его века: скептицизм Вольтера, филантропия Руссо, политический цинизм Дидро и Ренана, но все в нескладном, искаженном виде, как все предметы криво отражаются в кривом зеркале» [12, т. 7, с. 359].

Пушкин оценит и «удивительное самоотвержение» и «рыцарскую совесть», с какими действовал Радищев, признает справедливость его острой социальной критики злоупотреблений со стороны дворянства, чиновничества, местной власти по отношению к крепостному крестьянству, но в целом отвергает его «посредственную книгу» как проявление «пошлого и преступного пустословия», опасного по своему разрушительному воздействию на незрелые умы.

Радищевскому «сатирическому воззванию», спровоцированному европейским полупросвещением, презрительным пренебрежением к опыту мировой и отечественной истории, обольщением модными идеями европейского радикализма, незнанием жизни и характера своего народа во всем их онтологическом объеме, Пушкин противопоставит свой исторически обоснованный идеал мудрых системных реформ «сверху» на благо интересам каждого сословия, каждого человека, нации в целом. Этот идеал всевластия Закона социальной справедливости в «сочетании» «с вольностью святой», Закона, непрестанно сверяемого с незыблемыми христианскими заповедями «братского всеединства» (Ф. М. Достоевский), любви, милосердия, может, верил русский гений, противостоять грозным, разрушительным процессам в мировой истории.

В споре с Радищевым Пушкин почти дословно повторит одну из своих знаменитых историософем романа о «русском бунте», акцентируя на этот раз и ее политический смысл: «...лучшие и прочнейшие изменения суть те, которые происходят от улучшения нравов, без насильственных потрясений политических, страшных для человечества» [12, т. 7, с. 292].

Подводя итоги своему спору с радикальными идеями века по насильственному изменению существующего миропорядка, Пушкин завершит статью «Александр Радищев» неопровержимым для себя не философским или социально-историческим, а нравственным контраргументом: «...нет убедительности в поношениях и нет истины, где нет любви» [12, т. 7, с. 360].

Не согласится Пушкин и с прозападно-либеральной трактовкой русской истории, выведенной из безудержной апологетической оценки современной европейской цивилизации как якобы самой совершенной, социально гармоничной и исторически перспективной, оценки, изложенной в знаменитом «Философическом письме» (1836) П. Я. Чаадаева. Он признает справедливость скорбных сетований «первого русского философа» (Б. Н. Тарасов) и своего друга по поводу «отсутствия общественного мнения» в России, «равнодушия ко всему, что является долгом, справедливостью и истиной», «циничного презрения к человеческой мысли и достоинству в среде образованного русского общества, которые поистине могут привести в отчаяние» [12, т. 10, с. 875—876]. Но Пушкин возражает Чаадаеву по самому главному пункту его мрачной историософии России о якобы исторической несостоятельности ее антизападного цивилизационного развития. Не примет Пушкин в принципе чаадаевского печально знаменитого историософского афоризма, уже предвещавшего чеканно-афористические строфы лермонтовской «Думы»: «Мы живем одним настоящим, в самых тесных его пределах, без прошлого и будущего, среди мертвого застоя» [19, с. 43].

Величие страны и нации, по мнению поэта, залогом их будущего развития определяются прежде всего тем, насколько они способны сохранять и развивать свою духовно-нравственную и культурную идентичность, насколько они способны исполнять созидательную, миротворческую роль в мировой цивилизации.

Россия, пишет Пушкин в своем письме, в грозные, судьбоносные моменты своей и мировой истории не только всегда самоотверженно и героически защищала свою землю, культуру, веру, но и всегда исполняла благородную, бескорыстную миссию освободительницы поработенных народов Европы, каждый раз спасая европейскую цивилизацию от очередного претендента на мировое господство.

В письме к Чаадаеву русский гений ответил всем потерявшим веру в Россию либералам в прошлом, настоящем и будущем: «...клянусь честью, что ни за что на свете я не хотел бы переменить Отечество или иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой, какой нам Бог ее дал» [12, т. 10, с. 875].

«Выход», историческую перспективу для России Пушкин, в отличие от Чаадаева, увидел не в том, чтобы слепо копировать чужой опыт, а в том, чтобы неустанно укреплять и утверждать веру в духовно-объединительную, восстановительную энергию таких базовых, общенациональных, внесловных ценностей, как свобода, честь, долг, милосердие, «дух терпения, смирения, любви...».

«Дума» Лермонтова отразила начавшуюся смену культурных эпох, литературных формаций, мировоззренческих установок, мирообразности, жанровых моделей, стилей, метрико-ритмических форм. «Поэзию гармонической точности», с ее органичным сосуществованием «поэзии сердца» и «поэзии мысли», эстетическим равновесием чувства

и размышления, стремительно вытесняла «поэзия мысли» (Л. Гинзбург) с ее тотальной рефлексией, аналитикой, скепсисом, апокалиптическими предчувствиями [3, с. 52].

В этом отношении знаменитая, отчеканенная в афористической форме оценка Белинского, увидевшего в «Думе» «грозу» духа, оскорбленного позором общества», не утратила своего актуального смысла и в наше время [2, с. 522].

Лермонтовская «Дума», предваряющим историософским комментарием к которой могут служить «Философические письма» П. Я. Чаадаева и ответное письмо Пушкина, а общественно-литературным контекстом — публицистика, критика и литература первой трети XIX века, явно индифферентна к идеалам радикализма и либерализма и явно полемична именно по отношению к пушкинской картине мира.

Младший современник великого русского гения не принял прежде всего пушкинской гуманистической, исполненной неиссякаемой веры в человека антропологии.

Лермонтовская антропология, сопоставимая по глубине и мощи трагизма с гоголевской, отразила подобно ей сам процесс утраты веры в человека и, в отличие от нее, поколебленную веру в Бога.

Название стихотворения, первая экспозиционная строфа звучат еще поэтически вполне традиционно, в духе учительной, ораторской поэзии XVIII века и высокой гражданской поэзии декабристов:

Печально я гляжу на наше поколение!
Его грядущее — иль пусто, иль темно,
Меж тем под бременем познания и сомнения
В бездействии состарится оно.

Историософские и общественно-литературные ассоциации с декабристской поэзией, со стихами Рылеева, страстно порицавшего современное молодое поколение за бездействие в «роковое время», очевидны:

Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян [15, с. 97].

Стихотворение поэта-декабриста с высокой гражданской скорбью и духовной тревогой зафиксировало трагический процесс духовно-нравственного «перерождения» современного молодого поколения, его разрыв с веками формировавшимся в национальном самосознании в качестве идеала образом предка-славянина, героя, гражданина, патриота.

Авторская позиция в стихотворении Рылеева и в первой строфе «Думы» Лермонтова заявлена как позиция мыслителя, личности с высокоразвитым гражданским самосознанием, понимающей все катастрофические последствия «бездействия» молодого поколения.

На несомненное идейно-философское сходство лермонтовской «Думы» с элегической медитацией другого поэта-декабриста, А. Одоевского, «Что вы печальны, дети снов...» обоснованно указывает современный исследователь А. И. Журавлева: оба поэта устремлены не только к осмыслению «своей индивидуальной судьбы», но и самих законов и целей истории», расширяя тем самым границы традиционной элегии до масштабов философско-онтологического размышления о путях развития человечества [4].

Но у Лермонтова движение поэтической мысли от экспозиции к основному лирическому «внутреннему событию» (И. Сурат) — духовно-нравственной инволюции молодого

го поколения — совершает неожиданно крутой поворот, создавая столь характерную для поэта антинонимическую ситуацию [17, с. 42].

Оставляя за собой статус судьи и учителя, Лермонтов сделает то, на что никогда бы не пошли Рылеев и Пушкин и на что вскоре решится Некрасов. Он включает свое надмирное «Я», романтически возвышающееся над «толпой» своих современников, «растерявших все свои идеалы «от фригийского колпака до распятия» (Герцен), в стихию «безличного, коллективного «Мы» — объект своего сурового бескомпромиссного суда.

«Все то, что присуще поколению, — отмечал Ю. М. Лотман, — присуще и автору, и это делает его разоблачение особенно горьким» [7, с. 79].

Именно поэтому смена «я» на «мы» сопровождается таким мощным усилением глупо-бо личностных эмоций (скорби, стыда, презрения, иронии, насмешки).

Охватывая своей «думой» жизнь современного молодого поколения от «колыбели» до «гроба», поэт читает открытую его «всеведающему» взору книгу его Судьбы. Он отказывает своему поколению в «грядущем» («пусто иль темно»), т.е. в способности к самоосуществлению.

Лирическое напряжение авторской исследовательской мысли нарастает по мере того, как поэт погружает поток своих философем («грядущее», «познание», «сомнение», «добро», «зло»), онтологических дефиниций («поколение», «бездействие», «жизнь», «путь», «поприще», «борьба», «опасность» и т.д.) в стихию глубоких, эмоциональных переживаний широчайшего диапазона — от «печали» до презрения и насмешки.

По глубине и силе философской и исторической рефлексии «Дума» Лермонтова сопоставима с «Осенью» Баратынского.

Будущность человеческого рода у Баратынского предопределена тем, что он, утрачивая способность осмысливать и передавать свой опыт следующим поколениям, трагически теряет общую цель своего саморазвития, распадаясь на взаимоизолированные локусы:

...легких чад житейской суеты
Не посвятишь в свою науку... [1, с. 241]

В лермонтовской «Думе» онтологическая ситуация в сфере преемственности опыта молодым поколением — одного из главных условий дальнейшего развития человеческого рода — еще более драматизируется. Опыт предшествующих поколений, опыт «отцов» (в том числе и предпринятая декабристами героическая попытка революционного изменения существующего миропорядка) отвергается как ошибочный и «поздний»:

Богаты мы, едва из колыбели,
Ошибками отцов и поздним их умом...

Отсутствие живой преемственности между поколениями, тревожное ощущение разрыва с многовековой национальной традицией восприятия жизни как борьбы, «пира», «праздника» порождают в свою очередь ощущение бессмысленности бытия, уподобленного бесцельному перемещению в чужом пространстве:

И жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели,
Как пир на празднике чужом...

Истоки кризиса своего поколения поэт Лермонтов, как и его современник философ Чаадаев, увидел в том, что оно отказалось от базового принципа, определяющего духов-

но-нравственное развитие человека и общества, — активного, деятельного различения «добра» и «зла»:

К добру и злу постыдно равнодушны,
В начале поприща мы вянем без борьбы;
Перед опасностью позорно малодушны
И перед властью презренные рабы.

Здесь текст лермонтовской «Думы» почти дословно совпадает с тревожно-мрачными историософскими размышлениями Чаадаева: чтобы действовать, «чтобы размышлять, чтобы судить о вещах, необходимо иметь понятие о добре и зле. Отнимите у человека это понятие, и он не будет ни размышлять, ни судить, он не будет существом разумным» («Письмо третье») [19, с. 78].

«Равнодушие к житейским опасностям соответствует в нас такое же равнодушие к добру и злу, к истине и ко лжи и... именно это лишает нас всех могущественных стимулов, которые толкают людей на путь совершенствования...» («Письмо первое») [19, с. 46].

Равнодушие к добру и злу, по мысли Чаадаева и Лермонтова, неизбежно вело к утрате чувства «стыда», базового «регулятора» (Ю. М. Лотман) духовно-нравственного и социально-общественного поведения человека, определяющего уровень развития культуры и цивилизации.

Пушкинский Евгений Онегин (образ которого сконцентрировал и обобщил весь предшествующий лиро-эпический опыт поэта в исследовании духовно-нравственной жизни современного поколения), пораженный «болезнью века» — разочарованием во всех ценностях бытия, переживая тотальное отчуждение от окружающего мира, все еще сохраняет живые связи с культурой предшествующих и современной эпох. Диапазон его культурных интересов, несмотря на авторскую ироническую оценку светского воспитания того времени, обширен и многообразен: от Гомера до Байрона.

Характерен круг проблем, обсуждаемых в спорах Онегина с Ленским, органично включающий проблему «добра и зла»:

Меж ими все рождало споры
И к размышлению влекло:
Племен минувших договоры,
Плоды наук, добро и зло,
И предрассудки вековые,
И гроба тайны роковые,
Судьба и жизнь в свою чреду,
Все подвергалось их суду.

Лермонтовская картина социально-духовной жизни современного поколения активно полемична по отношению к пушкинской.

Лирический и эпический герой Пушкина пребывает в поиске истины о себе, своем бытии и окружающем мире. Автор оставляет ему надежду на будущее даже после самых тяжелых испытаний и ошибок.

Неиссякаемым источником духовно-нравственного самовосстановления и возрождения человека для Пушкина даже в самые «печальные» и тяжкие моменты его бытия остаются Любовь, Свобода, Природа, Искусство:

Но не хочу, о други, умирать;
 Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
 И ведаю, мне будут наслажденья
 Меж горестей, забот и треволненья:
 Порой опять гармонией упьюсь,
 Над вымыслом слезами обольюсь,
 И может быть — на мой закат печальный
 Блеснет любовь улыбкою прощальной.
 («Элегия», 1836) [13, т. 3, с. 179]

... для власти, для ливреи
 Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
 По прихоти своей скитаться здесь и там,
 Дивясь божественным природы красотам,
 И пред созданными искусствами и вдохновенья
 Трепеща радостно в восторгах умиленья.
 Вот счастье! вот права...
 («Из Пиндемонти», 1836) [13, т. 3, с. 372]

Лермонтовскому поколению надежды на будущее не оставлено. В его духовном пространстве произошла необратимая инволюционная катастрофа: слом веками формировавшейся системы аксиологических ориентиров.

Равнодушие к добру и злу, отказ от деятельности и борьбы, неспособность противостоять опасности, рабская зависимость от власти смоделировали безысходную онтологическую ситуацию, в которой все истинные ценности, всегда поддерживавшие дух человека и побуждавшие его к саморазвитию и самосовершенствованию, стремительно девальвировались. Бесплодной становилась наука, оторванная от общечеловеческих целей и живой практики людей; невостребованным оказывалось искусство, несовместимое с «тайным холодом души»:

Мечты поэзии, создания искусства
 Восторгом сладостным наш ум не шевелят...

— как бы возражая Пушкину, эхом отзывались безнадежные лермонтовские стихи...

Душевное и духовное существование лермонтовского поколения утрачивало свою естественность и непосредственность, метафизическую глубину и сакральную связь с высшими законами бытия, вкус и интерес к жизни, чувственное ощущение ее полноты и красоты.

Жизнь поколения, лишённая высшей цели, духовно-нравственных опор и ориентиров, приобретала странную призрачность, оказываясь во власти всемогущего Случая:

И ненавидим мы, и любим мы случайно,
 Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви...

В третьей, предпоследней части стихотворения окончательно подтверждался разрыв лермонтовского поколения с образом жизни «предков»:

И предков скучны нам роскошные забавы...

В атмосфере изнуряющей, обессиливающей рефлексии, разрушительной иронии и самоиронии, девальвации ценностных ориентиров стирались различия между добром и злом, любовью и ненавистью, дружбой и завистью... и в конечном итоге — жизнью и смертью.

Герой пушкинского поколения, по известному поэтическому выражению Вяземского, «и жить торопится и чувствовать спешит», он жаждет славы и счастья. Автор «Думы» от имени своего поколения зафиксировал иную, безнадежно безысходную онтологическую ситуацию:

И к гробу мы спешим без счастья и без славы...

Цель исполненных глубочайшего трагизма лермонтовских антиномических пар, отразив онтологическую катастрофу молодого поколения, замыкалась двумя финальными строками, которые читаются как самообвинительная эпитафия, как будущий суровый приговор потомков:

Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа,
Не бросивши векам ни мысли плодovитой,
Ни гением начатого труда.
И прах наш, с строгостью судьбы и гражданина,
Потомок оскорбит презрительным стихом,
Насмешкой горькою обманутого сына
Над промотавшимся отцом [6, с. 30].

Утрачивая все сущностные цели, мотивы и свойства духовно-нравственного саморазвития, отказавшись от общественно значимой деятельности и гражданского долга, рабски покоряясь власти, отвергая общечеловеческие ценности, поколение лермонтовской эпохи превращается в «толпу», “*profanum vulgus*” (Гораций), «чернь» (на языке Пушкина), будущего у которой, исходя из опыта развития общечеловеческой цивилизации, не было.

Выявляя истоки, причины, истинный масштаб онтологической драмы, переживаемой современным поколением, Лермонтов мужественно делит с ним все тяготы его судьбы.

Но в отличие от своих молодых современников, отказавшихся от борьбы и труда, от этической и исторической ответственности, подчинившихся социальному Фатуму, он сохранит за собой статус судьи и учителя и останется верен до конца своему высшему назначению: оставаться и в кризисные эпохи носителем и защитником тех незыблемых ценностей, вне которых человеческая жизнь утрачивает свой смысл: духовная свобода и нравственное достоинство человека, его созидательная деятельность, его ответственность перед предками и потомками, перед Богом и человечеством.

Может быть, в этом заключалась скрытая жизнеутверждающая идея трагической лермонтовской «Думы», мужественная сила и благородная энергия которой была направлена не только на то, чтобы сказать молодому поколению всю горькую правду о ничтожестве его настоящего, но и на то, чтобы побудить его и следующие поколения к духовному самовозрождению, к будущему, достойному истории их великой страны и великих и героических предков.

Совершая свой трудный путь восхождения к Истине о человеке и мире, Лермонтов снова возвращался к Пушкину.

Список использованной литературы

1. Баратынский Е. А. Стихотворения. М. : Сов. Россия, 1976. 335 с.
2. Белинский В. Г. Полное собрание сочинений : в 13 т. Т. 4. М. : Изд-во АН СССР, 1954. 675 с.
3. Гинзбург Л. О лирике. 2-е изд. Л. : Сов. писатель, Ленингр. отд-ние, 1974. 407 с.
4. Журавлева А. И. Лермонтов в русской литературе. Проблемы поэтики. М. : Прогресс-Традиция, 2002. 286 с.
5. Коровин В. И. «Дума» // Лермонтовская энциклопедия / под ред. В. А. Мануйлова. М. : Советская энциклопедия, 1981. С. 147.
6. Лермонтов М. Ю. Избранные произведения : в 2 т. Т. 2. М. ; Л. : Сов. писатель, 1964. 736 с.
7. Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Л. : Просвещение, Ленингр. отд-ние, 1972. 271 с.
8. Маймин Е. А. Опыты литературного анализа. М. : Просвещение, 1972. 207 с.
9. Максимов Д. Е. Поэзия Лермонтова. Л. : Сов. писатель, 1959. 326 с.
10. Маркович В. М. Лермонтов и его интерпретаторы // Михаил Лермонтов: pro et contra. СПб., 2002.
11. Найдич Э. Ответы на вопросы читателей (О стихотворении М. Ю. Лермонтова «Дума») // Литература в школе. 1973. № 1. С. 72—73.
12. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений : в 10 т. / АН СССР, Ин-т рус. литературы (Пушкинский дом). 3-е изд. Т. 1—4. М. : Изд-во АН СССР, 1962—1963; Т. 5—10. М. : Наука, 1964—1966.
13. Пушкин А. С. Полное собрание сочинений : в 10 т. [К 150-летию со дня рождения] / Акад. наук. СССР, Ин-т литературы (Пушкинский дом). М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1949.
14. Роднянская И. Лирический герой // Лермонтовская энциклопедия. Л., 1981. С. 258—262.
15. Рылеев К. Ф. Полное собрание стихотворений. Л. : Сов. писатель, 1971. 480 с.
16. Скатов Н. Н. Всеведенье пророка // Вопросы литературы. 2011. № 1.
17. Сураг И. Пушкин: биография и лирика. М. : Наследие, 1999. 240 с.
18. Фохт У. Лермонтов. Логика творчества. М. : Наука, 1975. 190 с.
19. Чаадаев П. Я. Статьи и письма. М. : Современник, 1989. 621 с.

Поступила в редакцию 06.11.2013 г.

Сысоева Нина Петровна, доктор филологических наук, профессор
Оренбургский государственный педагогический университет
460014, Российская Федерация, г. Оренбург, ул. Советская, 19
E-mail: kafedra-mir@yandex.ru

UDC 821.161.1 Lermontov

N. P. Sysoeva

Lermontov's "Duma" on the younger generation in the social and literary context of the 1830s

The article on the analysis of "Duma" by Lermontov considers one of the urgent problems of modern knowledge about the poet: resemblance of his anthropological views with anthropological conceptions of his contemporaries (in literature, criticism, philosophy) and the fundamental differences between them. As a result, Lermontov anthropological system is rated as an outstanding phenomenon of Russian culture which deeply understood and correctly predicted the tragic involuntary processes in the public consciousness of the younger generation.

Key words: conflict of life and spirit, antinomy, anthropology, involution, "poetry of thought", reflection.

Sysoeva Nina Petrovna, Doctor of Philology, Professor
Orenburg State Pedagogical University
460014, Russian Federation, Orenburg, ul. Sovetskaya, 19
E-mail: kafedra-mir@yandex.ru